

Художник Евгений Спасский — один из малоизученных, но очень интересных представителей богемы начала века. Творческие метания и увлечения интеллигенции этого времени коснулись его в полной мере. Борьба с реалистами и передвижниками, буденчянтский бунт, ожидание то ли всемирной республики художников, то ли всеочищающего революционного Апокалипсиса, «чаяние воскресения мертвых», богостроительство и оккультизм — весь этот идейный репертуар был Спасским изучен и оценен.

В предлагаемом читателю «Автобиографическом очерке» он описывает гимназические годы в Тифлисе, переходя затем к знакомству с Давидом Бурлюком, дает весьма нелицеприятную характеристику пролетарскому королю поэтов — Маяковскому. Рассказывает о революции, увлечении богическими практиками, призыве в армию, службе в военной типографии. Однако на фоне многочисленных исторических деталей в его воспоминаниях разбросаны неспешные размышления о новом «железном веке» и его морали. В период всеобщего кумиротворения Спасский сохраняет особую внутреннюю струну: И, разгребая великое множество «измов», тем не менее, обращает внимание на главное: «Мы все становились бы лучше, если бы слушали всегда и везде правду, сказанную о нас, а всякая ложь только затуманивает сознание, порождая себялюбие и эгоизм, гордость и душевную узость. Пицца Люцифера».

Семейный архив Евгения Спасского, включающий и «Автобиографический очерк», находится в распоряжении искусствоведа Веры Петровны Головиной, которая любезно предоставила журналу право на публикацию. Печатается в сокращенном варианте.

**Первая часть
ТРЕВОЖНОЕ ДЕТСТВО**

С переездом в Тифлис у меня началась новая жизнь, связанная с гимназией, из дома я уходил в шесть часов утра и возвращался не раньше двух часов дня. В младших классах все предметы вел один педагог; а кроме него был священник, который преподавал Закон Божий. Первого преподавателя своего я вспоминаю с большой любовью. Звали его Филипп Филиппович — добрый, мягкий, ласковый, среднего роста, полный. Мягко ступая, он как шар катался по классу, на полных розовых щеках мягко покоились мясистые мочки ушей, все говорило о доброте человека: и глаза улыбающиеся, и ласково очерченный рот. Волнистые каштановые волосы, зачесанные назад, придавали еще большую

НЕЛИЦЕПРИЯТИЕ

Автобиографический очерк

Евгений СПАССКИЙ



округлость голове и всей фигуре. Иногда непокорный локон падал на его большой лоб, и он каждый раз мягкой полной рукой его закидывал обратно. И это чаще всего случалось, когда в конце уроков он занимался с нами песенки, разучиванием какой-нибудь песенки. У него был хороший слух и ласковый тенор. Он разбил весь класс на первые и вторые голоса, с каждой группой прорабатывал отдельно, и у нас получалось неплохо, мы все это очень любили, во-первых,

потому что получалось довольно стройно, а во-вторых, потому что для нас это означало конец занятий, еще немного — и мы веселой гурьбой побежим домой.

Не могу не остановиться и не описать подробнее тифлисскую гимназию и, в частности, свой младший подготовительный класс. Здесь своеобразный и многонациональный подбор учащихся: маленький процент был русских — на сорок человек трое русских, остальные — армяне, евреи, осетины, грузины.



ГИМНАЗИСТЫ. ИЮНЬ 1913

абхазцы, азербайджанцы, персы и другие. Мы все делились по вероисповеданию: грузины и русские — православные, затем были магометане и армяно-григориане. Когда шел урок Закона Божия, мы оставались в своем классе, так как нас было больше, а остальные уходили в другие помещения, так я не раз видел, как в гимназическом зале на ковре, на полу сидели мои товарищи, поджав под себя ноги, по кругу, и в центре их мулла. И больше всего мы завидовали католикам

и евреям, которые в это время весело носились по двору. Но кроме разнообразия наций было и большое разнообразие в годах: так со мной на одной парте сидел взрослый мужчина с большими пушистыми черными усами, и ребята говорили, что он женат, что есть у него жена, но по документам он был нашего возраста. Правда, науки ему вирок не шли, и в старший подготовительный он уже не перешел, а просто ушел из гимназии, на этом закончив свое образование.

Когда мне исполнилось девять лет и я перешел в первый класс, я почувствовал себя уже взрослым, во-первых, много новых предметов: география, история и даже немецкий язык, и, во-вторых, по каждому предмету свой преподаватель, приготовилешек называли «чушками», и мы, первоклассники, смотрели на них сверху вниз.

Помню, как-то в один из обычных учебных дней у нас в гимназии разыгралась трагическая история. Когда пре-

подаватели после окончания переменки расходились по классам, один из учеников зверски прирезал в коридоре учителя Троицкого, которого очень все любили и хвалили за удивительно мягкий характер. Как выяснилось позже, этот ученик хотел зарезать другого, поставившего ему двойку, а по ошибке убил Троицкого. Мы всей гимназией торжественно его хоронили на третий день. Этот факт говорит о тех диких, дикарских нравах, царивших у некоторых народностей. Эта злоба слепой мести вряд ли сможет скоро окончательно изжитись там.

Были и смешные эпизоды, все учащиеся хитрили и старались всякими способами облегчить свое положение, так мне повезло с учителем истории, строгим и придиричивым. Тем более что я предмет этот ненавидел, меня никогда не интересовала судьба и жизнь царей, полная лжи, обмана и ненависти, но с захватывающим интересом и волнением я любил читать все из жизни замечательных людей науки и искусства. А педагог по истории

педагог, войдя в класс, сам называл фамилию ученика и велел именно ему читать, и мы этого боялись, вдруг собьешься, забудешь — ведь это целый скандал. Отражается на снижении в четверти отметки по поведению. Оставят на целый час после занятий учить молитву, причем утренняя читалась нарочно медленнее, чтобы тем самым сократить урок, а на конец занятий непостижимой скороговоркой, так как книги были уже на руках, а душа и сердце были уже давно на улице. И читающий не успевал договорить последнее слово, так как никакая сила не могла остановить нас. Мы неслись с криком и писком по лестнице. Но в 1910-м году был издан новый приказ, утренняя молитва должна была быть всеобщей для всей гимназии. Нам приказано было являться на занятия на полчаса раньше обычного. Каждый наставник выстраивал класс попарно и вел в большой актовый зал. В центре зала стоял священник, директор и инспектор, и наш церковный хор. Священник совершал какую-то коротень-

который, видно было, что всей силой своей души ненавидел учеников и не обращался иначе к детям, как со словами «вот баран-то», причем произносил это со страшной злостью. Зачем такие люди идут в педагоги? Или они столь бездарны, что нигде не могут найти своего места, а школы принимают всех? Вот и инспектор гимназии говорит по-мужицки, совсем не интеллигентно, безумно оканчивает слова. Ребята есть ребята, везде одинаковые: балуются, дерутся, а иногда и плюют. И вот наш инспектор, увидев такое, подбегает к мальчику и начинает кричать на него, приговаривая: «Что же ты, за безобразно животное, которого выбрасывают отвратительную жидкость?» Или же, если ему ученик что-нибудь говорил в свое оправдание, выкрикивал: «Это ты со мной так разговариваш, воображаю же, как ты разговариваш с низшими учителями, если ты со мной так разговариваш». Значит, он считал себя высшим учителем. Скажите, можно ли было уважать такого педагога? Много прошло перед моими глазами таких «славных» преподавателей. Вот почему я гимназию и ненавидел, это было казенное и мертвое заведение. Когда отец получил работу на Самаро-Златоустовской железной дороге, и мы переехали в Самару, я был переведен в шестой класс Самарской первой мужской гимназии. Это была казенная гимназия, и тут я впервые узнал всю прелесть казенной гимназии. Какой это был ужас! Всех заставляли стричься под машинку, как солдат, носить на спине ранец обязательно, включая учеников и восьмого класса. Стыдно было, тем более что почти все уже ухаживали за гимназистками, были влюблены и назначали по вечерам свидания. Поэтому на занятия старались идти глухими улицами, неся ранец в руке, чтобы не встретить кого-нибудь из педагогов, а подходя к гимназии близко, ранец надевали на спину.

Более косных и ограниченных людей трудно было найти, то поистине была кунсткамера во главе с директором — толстым, лысым, маленького роста, с хитрыми холодными крошечными глазками, почти невидными за очками в толстой оправе. Это был типичный жандарм и монархист по складу своей души. Все учащиеся его ненавидели и избегали с ним встречаться. При гимназии, как обычно тогда полагалось, у нас была своя церковь, в которой все службы совершал свой же законоучитель. Посещение же всех церковных служб именно в своей церкви было обязательным, при входе в церковь сидел надзиратель и в журнале отмечал приход ученика. Пропуск одной службы без уважительной причины, то есть без справки от врача, — значит, в четверти по поведению

Один из учеников зверски прирезал в коридоре учителя Троицкого, которого очень все любили

был скучный чиновник. К одному из его уроков, зная, что скоро меня будут спрашивать, я на доске приготвил выпуклую карту Древней Руси, раскрасил, ярко отметил все княжества. Когда на уроке он увидел ее, то пришел в восторг, забрал себе и поставил мне пятерку, с тех пор меня почти не вызывал, я был у него на хорошем счету. Один из моих товарищей, видя мой успех, решил последовать моему примеру. Мы проходили Петра Великого. И когда историк его вызвал, я и сейчас помню его фамилию, он был грузин — Гедеванов, — он с важным видом встал и сказал: «Я написал стихи». Все насторожились, так как никто не знал, что он пишет стихи. Гедеванов с большим пафосом прочел:

*Петр Великий был великий,
Был царевич, стал царем.
Много строил кораблей,
Еще больше и церквей!*

Но результат получился печальный: поднялся хохот. Педагог заставил ответить заданный урок, который он и не приготвил, надеясь на грандиозный успех от своих стихов, получил же кол и сконфуженный опустился на свое место.

Раньше во всех учебных заведениях перед первым уроком полагалось читать молитву «Перед обучением», она так и называлась, и «После чтения» — после окончания занятий. И в каждом классе были любители читать вслух молитву, а иногда

кую службу и мы все, вместе с хором, пели утреннюю молитву, после чего расползались по своим классам.

Когда вспоминаю своих тифлиских педагогов, то каждый раз встает в душе вопрос, почему среди педагогов было так мало настоящих культурных, интеллигентных и нормальных людей, почему этот мир охотно принимал самые отбросы человеческого общества, когда, казалось бы, должно быть как раз наоборот. Ведь учитель должен быть примером. Должен заразить любовью к предмету. Должен быть прекрасным образом для детей. Будет ли когда-нибудь так? Ведь дети очень чутки и подмечают быстро все недостатки своих учителей. Так, например, мой словесник был холерик по темпераменту с сильным уклоном к сумасшествию. На него ужасно действовало слово «хором», и когда у нас должна была быть письменная работа, от которой мы хотели увиливать, достаточно было где-нибудь в углу доски написать мелом слово «хором». Он, войдя в класс, сейчас же это замечал, начинал с пеной у рта бегать по классу, выскакивать в коридор, тряся, дергался и убежал с урока, а дети ведь жестоки, мы молниеносно стирали тряпкой с доски это слово и сидели тихо с невинным видом. Приходил директор или наставник и ничего не могли понять. А урок был сорван.

Урок гимнастики тоже был не интересен, при роскошно оборудованном гимназическом зале. Преподаватель был чех — худой, сухой и злой человек,



А. СОКОЛОВ. ГИМНАЗИСТ. 1910-е

будет четыре; пропуск двух — вызывают родителей, а трех — увольнение из гимназии. А служб этих было без конца: суббота, воскресенье и каждый праздник, все отдыхают, а мы стоим, и стоим подолгу, так как священник наш был тягостный и служил медленно и долго.

Первым в церковь входил директор и становился в центре у самого амвона против царских врат, надевал большие специальные очки и замирал, как статуя, на два с лишним часа, то есть на всю

службу. Через стекла своих очков он следил за поведением всех учащихся. Затем поклассно выстраивал всех нас, несчастных рабов, а позади нас стоял инспектор — высокий худой немец, который преподавал латынь, за ним и остальные педагоги. Мы должны были стоять, вытянувшись в струнку, руки держать по швам и тоже замереть. Руку поднять или повернуть голову или согнуть ногу в коленке было нельзя. Все постепенно затекло и деревенело, темнело в глазах, как

во сне сквозь тяжелую пелену слышался где-то далеко-далеко монотонный и унылый голос священника. И стоишь в таком трансе и думаешь только об одном: «Будет ли когда-нибудь конец этому?» Или улетаешь в мыслях, погружаешься в воспоминания, и проносятся перед душой картины: видишь улицу, свой двор, дом, свою комнату и начатую и неоконченную работу. А работа дома всегда была лучшей, любимая. Всегда любил мастерить, рисовать. А иной раз вставали красивые, сказочные, фантастические картины: это был полусон, полубодствование.

Подобное формальное простояние на службе — почти военщина; оно только отталкивало от религиозного чувства, тушило и сушило ростки веры. И во время этого оцепенения бывали и радостные минуты. Время от времени кто-нибудь из учеников, не выдержав этого испытания, падал на пол в обмороке, и это было счастьем для стоящих рядом. Тогда мы бросались вдвоем, поднимали и уносили на руках несчастного товарища. Это была единственная разминка и развлечение. Потерявшего сознание мы выносили в комнату, соседнюю с церковью. Там сидел в белом халате врач, который тотчас приводил мальчика в сознание, и его вновь возвращали на место, это была истинная пытка. Так мы не видели субботы — занятия кончались около трех часов, а в шесть часов начиналась вечерняя служба, а в воскресенье и праздничные дни с восьми утра и до половины первого. Так что домой приходил усталый к часу дня.

И этот же священник преподавал у нас Закон Божий. Трудно себе представить более ограниченного и тупого человека. Все нас заставлял учить наизусть жития святых, причем при ответе ученика сам следил по книге, чтобы тот не пропустил ни одного слова. Когда вызывал отвечать урок, ставил на средину класса и кричал: «Как стоишь? Руки по швам!» Трудно вспомнить все это без ужаса. По Закону Божьему мы все имели тройку в аттестате зрелости, потому что поп говорил: «Бог знает на пять, я на четыре, а вы только на три», — это был высший бал для ученика.

А теперь вернемся назад и заглянем в жизнь в Тифлисе, в 1908 год.

Восьми лет родители отдали меня в художественную школу для обучения игре на скрипке, так скромно и очень по существу раньше называлось музыкальное училище, но наш век — гиперболический век, особенно вторая половина двадцатого века: все везде носит преувеличенное название, в газетах все кричащие с великим пафосом заголовки, а читать фактически нечего, так в Тбилиси теперь не музыкальное училище, а консерватория, не художественная школа, а академия, а загляните-ка, чему в ней обучают!

Итак, решили меня обучить игре на скрипке, но это занятие было мне не очень по душе, не потому что я не любил музыку, а просто потому, что с раннего детства имел громадное влечение к рисованию. Моим преподавателем по музыке был скрипач Виктор Робертович Вильшау. Это был замечательный человек и очень чуткий музыкант. Я был поистине в него влюблен, но мне каждый раз было стыдно к нему приходиться, так как я очень мало занимался дома над заданным уроком. Но сам Вильшау — очаровательный, спокойный, мягкий человек, по-настоящему влюбленный в свой инструмент, — он очень любил мою трехчетвертную скрипку-красавицу, волшебную по звуку. Почти всегда перед уроком он брал ее у меня и сам настраивал, и часто после настройки, очарованный звучанием, начинал на ней играть и все забывал.

Я замирал, стоя около него, я ведь тоже любил музыку, любил слушать, когда он начинал увлеченно играть, я мог так стоять, не двигаясь, сутки, и если нужно — больше, уносимый звуками в бесконечность. Он же играл волшебно, взволнованно, вдохновенно. Я любовался его рукой, эластичными пальцами, на кончиках снабженными мягкими подушечками, пальцы его двигались по струнам словно каучуковые, лаская гриф. А иногда из ласковых они превращались в волевые, властные, я так был очарован его игрой! Я не мог оторвать глаз от его руки. Мы, видимо, оба впадали в транс и пробуждались только тогда, когда открывалась дверь класса и входил следующий ученик. Он бывал очень растерян и с большим удивлением спрашивал: «Неужели уже прошел урок?» И, отдавая мне скрипку, прибавлял: «Ты мне не давай ее настраивать». А для меня такие уроки всегда были праздниками, я словно тоже принимал участие в таинственном колдовстве звуков. Именно за это я был в него влюблен и сохранил очарование от этих уроков на всю жизнь. Он первый мне открыл таинственную красоту человеческой руки, гибкой, выразительной, умеющей творить прекрасное в мире. Но я должен был с ним проститься, и, прощаясь, мы оба плакали.

Тяга к рисованию пересилила, и в 12 лет я, не говоря ни слова родителям, поступил



в школу живописи, ваяния и зодчества при императорской Академии художеств в Тифлисе. Эта была моя стихия. Я бежал туда после гимназии и со священным трепетом, почти не дыша, замирал на два, два с половиной часа над своим листком бумаги, прикипленным к доске. В правой руке держал итальянский карандаш, а в левой — липучку или снимку, и весь был во власти натуры, стараясь возможно точнее передать все тончайшие нюансы. В этом переливе света и тени — дыхание жизни.

своя нежная мелодия. Это тоже музыка, звучащая из самых сокровенных глубин души. И когда пропадали штрихи и линии карандаша, выявлялась жизнь, трепещущая, мерцающая и живущая помимо тебя. И ты являешься свидетелем таинственного рождения. Сладостное и щемящее чувство пронизывает тебя всего, и это первые шаги к пониманию и осознанию творческого процесса.

В 70-е годы люди утратили понимание слова «творчество» и, употребляя его



НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ. 1902

где попало, опошили. Например, кто-то танцует гопака, бессмысленно выбивая из пола пыль, вертится колесом, и все это называется творчеством. Сколько мудрости в старинных народных поговорках: «Если Бог хочет наказать человека, то он лишает его разума».

Школа живописи помещалась на втором этаже двухэтажного старинного здания на улице Грибосдова. Представьте себе громадный зал, тишина, полумрак и только тут и там ярко освещенная гипсовая

натура, орнаменты, маски; головы, торсы. И в этой тишине изредка раздается голос преподавателя, делающего какое-нибудь указание и то вполголоса. Слышен только шум шуршащих по бумаге карандашей. Кто когда-нибудь это переживал, знает всю сладость таких часов, уносящих вас в иной мир красоты, сосредоточенности и внутренней активной тишины.

Постановка преподавания в этой школе была чисто академической. Здесь я действительно получил хороший фундамент

крепкого рисунка на всю жизнь. Оценка работ и перевод учеников в следующий класс были поставлены очень мудро и объективно. Каждую четверть наши работы укладывались в огромный фанерный ящик и отправлялись в Петербург в Академию, где комиссия профессоров, никого из нас лично не зная, ставила на рисунках оценочные категории. Затем этот ящик мы получали назад и, согласно полученным отметкам, нас или переводили или оставляли в прежнем классе. Затем я прошел орнаментный и головной классы, пока не началась война.

С наступлением турок на Тифлис школа была закрыта. Началось странное бегство из города. В течение трех дней город опустел. Все боялись турок, у которых была объявлена священная война, а это означало, что они, занимая местность, вырезали всех детей, женщин и стариков, не принадлежащих к магометанской вере. Отец мой в это время работал в Самаре, и мы, то есть я, брат и мать, не имея возможности материальной, не могли и думать куда-нибудь ехать и решили ожидать своей участи, но, к счастью, турок до Тифлиса не пустили. И так все детство мое до пятнадцати лет прошло в Тифлисе. Ереванская школа делила город на две части: европейская часть города состояла из каменных домов двух- и четырехэтажных, а азиатская часть — в основном из одноэтажных или двухэтажных деревянных домиков, обязательно с балконом. Когда попадаешь в азиатскую часть города, то поистине вступаешь в сказку, это сказка из тысячи и одной ночи. Там все поражает своей пестротой, шумом, криком, вся жизнь проходит на улице. Тут работают и чеканщики, и лудильщики, и мастера по серебру, и сапожники, и пекари, и все на улице. Все изделия висят на улице, а ковровые магазины выстилают мостовые коврами, утверждая, что чем больше ходят по ковру, тем он лучше становится. Я любил присматриваться к работе каждого мастера, чему-то поучиться и что-то узнать. Часами мог стоять в пекарне и наблюдать за выпечкой хлеба, вкусного, ароматного.

Печь — это огромный глиняный горшок в два, два с половиной метра высотой, врытый в землю, на дне которого укладывались дрова и поджигался костер. Когда дрова сгорали и оставались на дне угли красные, раскаленные, то с поразительной легкостью и ловкостью пекарь, держась левой рукой за край кувшина, нырял внутрь и правой рукой наклеивал на бок хлеба. Причем все это надо было сделать очень быстро, чтобы не остудить кувшин и не сгореть самому. Когда же бока кувшина были обжелены, кувшин закрывался доской и сверху одесилом на определенный срок. С самого же пекаря лил градом пот; он вытирался полотенцем и шел

холодную воду. Такая пекарня называлась «пурня» от слова «пури» — хлеб. И хлеб был удивительно вкусный, трудно было удержаться и донести до дому целый чурек, невольно рука отламывала хрустящий, тонкий нос и по дороге нос съедался.

Теперь мы гордимся, что пооткрывали хлебозаводы и все процессы механизированы, а хлеб получился стандартно невкусный и безликий. Все живое умирает, к чему прикасается машина. Хочет верить, что человечество, строящее свою жизнь на машинах, когда-нибудь познает всю трагедию современной цивилизации. Кто из вас может сравнить скромный домашний обед по вкусу с обедом в столовой? Все массовое производство делается механически и без любви. А любовь — это основной двига-

в Петербурге. Я не против новой жизни, пришедшей на смену, я многое приветствую, но историю надо любить и охранять, это прошлое народа. А народ надо любить по-настоящему. У нас сейчас слово «народ» склоняется по всем падежам, но это только склоняется, а на самом деле все, что создавал народ веками, уничтожается с невероятной легкостью.

Вообще хочется обратить внимание на то, что если начинать о чем-нибудь слишком много говорить, то верный признак, что именно этого-то и нет. В любой газете, журнале, на третьей строчке употребляется слово «творчество». Прилагательное слово «творческое» приклеивается к любому проявлению человеческой деятельности. Всем желают «дальнейших творческих успехов», если

разные города России и приехал в Тифлис. Для нас, учащихся, это был большой праздник, все занятия по боку, а это самое радостное, целые дни мы толкались по городу оживленному и особенно нарядно украшенному. На тротуаре стояли разноцветные плитки, наполненные маслом, и с наступлением темноты горели живыми огоньками, от дерева к дереву на проволоках висели пестрые китайские фонарики самой разнообразной и фантастической формы, которые также вечером мерцали разными огоньками. С балконов домов были свешены ковры, так что дома, вернее, стены домов, утопали в коврах. Во многих местах ковры лежали и на тротуарах. В день приезда с утра нас построили на улице, чтобы встретить государя. Предварительно каждого осматривали и проверяли, чтобы пуговицы были начищены и все застегнуто, чтобы башмаки блестели, чтобы фуражка была надето прямо по центру. Мы стояли сплошным забором в два ряда, отделяя проезжую часть улицы от тротуара; дальше примыкала следующая школа или учреждение, и, наконец, к 12 часам дня мы услышали издали раскат «ура!», который медленно приближался к нам. Процессия торжественно двигалась, и мы все следили за рукой инспектора, который должен был дать и нам знак, когда кричать «ура!». Первыми показались всадники, личная охрана Воронцова-Дашкова, на белых конях, в белых черкесских и красных бешметях с золотыми гозырями и красными башлыками на спине. За ними медленно двигалась машина, в которой стоял Николай II и около него Воронцов-Дашков. Процессия направилась ко дворцу и когда исчезла из глаз, нас распустили по домам.

На третий день Николай посетил нашу гимназию. Мы были выстроены в громадном актовом зале. Он приехал в сопровождении казака огромного роста, с большой квадратной бородой. Это был тот казак, который обычно носил на руках наследника. Государь пробыл у нас около часа. Осмотрел внимательно всех гимназистов, стоящего рядом со мной товарища погладил по голове. Тут же остановился и принимал рапорт от директора и разные поздравления, после чего объявил, что наша гимназия пусть теперь носит почетное звание «Гимназия Александра I Благословенного», и чтобы мы были три дня освобождены от занятий. Тут мы кричали «ура» от всей души. А нам приказано было всем тотчас сменить кокарды и бляхи на поясе. И теперь у нас красовалась большая буква «А» и под ней цифра один. Мы страшно важничали перед учащимися других гимназий, и нам все завидовали. Довольно скоро мы эти три дня отгуляли, и опять начались наши серые будни. ■

Время от времени кто-нибудь из учеников падал на пол в обмороке, и это было счастьем для стоящих рядом

тель ко всему прекрасному и доброкачественному.

Люди давно изгнали из жизни дух, а теперь изгоняют и душу, думая сердце, чувства и мысли человеческие заменить машиной. Это смерть, это погребение живого. Во всем должна быть и граница дозволенного, увлечение чем-либо — хорошее качество, но параллельно с увлечением должна следовать и мудрость. А в наш век получается по-другому, увлечение строится на жажде славы, и вот результат: вымирают постепенно области человеческого знания и искусства. Возьмем архитектуру. Архитектор прежде вносил в жизнь красоту, а сейчас он больше совсем не нужен. Смешно звучат слова — архитектурный проект, архитектурная мастерская номер такой-то. Когда сейчас для этих проектов в основном нужен только инженер, все шаблон и штампы. Где мысль, где красота, где искусство? А все прекрасное прошлое рушат с удовольствием. Не дорожат стариной, не дорожат историей. Это значит не любить свою родину.

Спустя несколько десятилетий я вновь приезжаю в Тифлис, и это уже не Тифлис, а Тбилиси. На Ереванской площади стояло историческое здание и называлось оно «Караван-Сарай». Сюда в старину приходили караваны с товарами. Позже были вокруг маленькие магазинчики, торговали шелками, коврами, всевозможными товарами и персидскими сластями. Сидели персы с красными бородами, аккуратно подстриженными, и красными ногтями перебирая четки. Это все сломано и залито асфальтом, мертвым асфальтом. А насколько было уютнее, когда улицы были вымощены камнем или торцом, как

вы даже отбиваете ногами чечетку или вертитесь под куполом цирка на трапедии. Это было бы юмористично, если бы не было столь серьезно трагичным. Утерян смысл слова и обезличено понятие. А со словом творчество тесно связано понятие искусства, которое тоже потеряло теперь всякий смысл. Высокое искусство заменили ремеслом, творчество внешней техникой. Еще Ференц Лист в свое время чувствовал приближение этой катастрофы и писал в своем некрологе Паганини: «Искусство должно пробуждать и воспитывать в душах энтузиазм к прекрасному, влечение подобно страстному тяготению к добру — вот цель, которую должен возложить на себя артист, достаточно сильный Духом»... У Листа много замечательных высказываний, которые сейчас звучат как пророческие для нашего времени, когда он предостерегает от увлечения пустой виртуозностью, но, к сожалению, не хотят к ним прислушиваться люди и учат молодежь греховному искусству. Из студентов консерватории делают роботов, лишь бы пальцы бегали быстро, и чем быстрее, тем лучше, а настоящее искусство забыто и потеряно в технике, весь мир погружается в эту внешнюю пустоту. Но зачем Россия рвется подражать Западу, ведь у нее свой путь, своя огромная задача, миссия перед всем человечеством. Это надо всегда помнить, но с большой скромностью и настойчивостью и твердостью нести в душе. Это очень важная и близкая сердцу тема, к которой я не раз буду еще возвращаться.

А сейчас хочется вспомнить 1913 год, год, когда вся страна отмечала знаменательную дату — трехсотлетие дома Романовых. Николай II в эти дни посещал